

Владимир Кожедеев

Перстень
удачи



Владимир Кожедеев

Перстень удачи

<https://litres.ru/74070078>

SelfPub; 2026

Аннотация

Ночь на Ивана Купалу, 1752 год. В горящей усадьбе княгиня Ларина, спасая младенца, отправляет его по реке в плетёной корзине с фамильным перстнем. Ребёнка находят рыбаки и воспитывают как своего сына.

Одиннадцать лет спустя в деревню приезжает сыщик Пётр Воронов. Он ищет наследника рода Лариных. Ростислав, выросший среди рыбацких сетей и лесных троп, узнаёт, что его прошлое — это тайна, за которую убивали. А его лучший друг Мирослав, прозванный «бедолагой», носит в себе яд зависти, способный разрушить всё.

Но главное испытание ждёт Ростислава в Москве, где он должен сделать выбор: остаться верным своему простому происхождению или принять бремя княжеского рода. И узнать, что судьба — это не перстень на пальце, а каждый шаг, который мы совершаем.

Содержание

Глава 1. Ночь Купалы, 1752 год	4
Глава 2. Находка	14
Глава 3. Два мальчика	29
Конец ознакомительного фрагмента.	42

Владимир Кожедеев

Перстень удачи

Глава 1. Ночь Купалы, 1752 год

Княгиня Варвара Алексеевна Ларина терпеть не могла Иванову ночь.

Каждый год, двадцать четвёртого июня, мир точно сходил с ума. Воздух становился тягучим, как липовый мёд, и пах не сеном, а чем-то сладковато-гнилым — папоротником, который никто не видел, болотной ряской, девичьими слезами. В усадьбе зажигали костры, хотя от них не было никакого толку: июньское солнце и так не садилось до полуночи, а потом, едва коснувшись горизонта, снова всплывало алым блином. Говорили, что в эту ночь деревья переходят с места на место, а русалки выходят из Оки расчёсывать волосы железными гребнями.

Варвара Алексеевна в это не верила. Она верила в счёт, в выверенные строки приходных книг и в крепкую рассаду капусты. Но сегодня она стояла у раскрытого окна своей опочивальни, прижимая к груди сына, и чувствовала, как вдоль позвоночника бежит предательский холодок.

— Не пойду, — сказала она тихо, но твёрдо. — Ванюшка спит.

Напротив неё, переминаясь с ноги на ногу, стоял управляющий именем — Ефим Кузьмич Заболоцкий. В этом году ему исполнилось сорок пять, но он всё ещё выглядел мужчиной в самой поре: широкие плечи, окладистая тёмная борода, цепкие руки, пахнущие кожей и табаком. Он держал в руках серебряный кубок с мёдом и улыбался той дежурной улыбкой, которая всегда означала, что он настаивает.

— Варвара Алексеевна, — голос у Ефима Кузьмича был густой, ровный, словно он выкатывал каждое слово на деревянной ложке. — Обычай есть обычай. Крестьяне ждут барыню у костра. Они уже венки сплели, гадать хотят. Кто ж им суженого предскажет, коли сама княгиня в избе сидит?

— Пусть Марфа-ключница предсказывает. Она у нас на всё горазда.

— Марфа от простуды слегла, вы же знаете.

Варвара Алексеевна вздохнула. Ей было двадцать девять, но в овальном зеркале на туалетном столике отражалась женщина, которой можно было дать и тридцать пять — глаза с вечной тревогой, тонкая морщина между бровями, посеребрённые стрессом пряди у висков. Она родила Ивана поздно, после семи лет бесплодного брака, и теперь каждую минуту боялась, что его у неё отнимут. Болезнь, случай, чужая воля — всё казалось ей врагом.

— Я не хочу оставлять его, — повторила она.

Заболоцкий шагнул ближе, и от него повеяло дорогим французским табаком — табаком, который Варвара выписы-

вала для покойного мужа и который оставался теперь только у управляющего. Она вдруг подумала: почему у него этот запах? Но мысль ускользнула, не успев оформиться.

— Его и не нужно оставлять, — мягко сказал Ефим Кузьмич, кивая на люльку, где ворочался во сне Иван. — Возьмите его с собой. Крестьянские дети с первых дней на руках у матерей у костра пляшут. Им от того только польза — огонь злых духов отгоняет.

— А если он испугается?

— Он ваш сын, Варвара Алексеевна. Он не может бояться там, где вы рядом.

Она посмотрела в его глаза. В них было что-то слишком тёплое — та самая «заботливость», от которой по коже шли мурашки. Заболоцкий служил у них пятнадцать лет, пережил смерть старого князя, помогал вести хозяйство, и никто никогда не сказал о нём дурного слова. Но каждую ночь, когда Варвара закрывала дверь своей спальни, ей казалось, что за дверью стоит кто-то и слушает, как дышит ребёнок.

— Хорошо, — сказала она, чувствуя, что спорить бесполезно. Откажись она — Ефим Кузьмич пошлёт за священником, скажет, что барыня «ворожит против рода христианского». У неё и так врагов хватало. — Я одену Ванюшку потеплее. И поставлю Матрену рядом.

Она повернулась к люльке, и в этот момент Иван открыл глаза. Ему было всего одиннадцать месяцев, но он смотрел на мать удивительно осмысленно — будто понял, что сейчас

произойдёт что-то непоправимое. Он протянул к ней пухлую ручонку и что-то пробулькал.

— Мам-мам, — сказал младенец, хотя это мог быть просто лепет.

Варвара прижала его к себе и поцеловала в макушку — в ещё мягкий, детский родничок, который бился под кожей, словно второе сердце.

На дворе уже разгорались костры. Двадцать четыре огня — по числу часов в сутках, как велел обычай, — выстроились на поляне за конюшнями, и чёрные тени от них прыгали по фасаду дома, делая его похожим на живое, дышащее чудовище. Дворовые девки в расшитых сарафанах водили хороводы, парни бросали через головы венки, старухи шептали что-то над купальской водой, собранной до рассвета.

Варвара вышла на крыльцо с Иваном на руках, и гул голосов мгновенно стих. Сотни глаз уставились на неё — голодных, любопытных, верящих. Она была для них не просто барыней, а знаком: пока Ларина держит наследника, пока на её пальце сияет фамильный перстень, земля будет родить хлеб, а рыба — не уходить из Оки.

— Княгиня! — крикнул кто-то из толпы. — Венок пустить!

Варвара заставила себя улыбнуться. Ефим Кузьмич поднёс ей сплетённый из душистых трав веночек — васильки, ромашки, папоротник, едва уловимый запах полыни.

— Кидайте на воду, — шепнул управляющий ей на ухо.

— Муж вам приснится. Или судьба укажет.

Она хотела возразить, что она вдова, что судьба уже указала ей на мужа в могиле, но не стала. Она поднесла венок к губам — так велел обряд, чтобы вдохнуть в него свои мысли — и швырнула в тёмную воду Оки.

Венок упал на поверхность, закружился на стремнине... и в ту же секунду из тёмного леса напротив донёлся дикий, животный вопль.

Кто-то спутал его с волчьим. Но Варвара, прожившая в деревне десять лет, знала: волки так не воют. Это вопил человек. И вопль этот был приказом.

— Барин! — закричала Матрена, её кормилица. — Барин, беги!

Она не успела закончить. Из-за кустов орешника вылетели первые тени — низкие, приземистые, с факелами в руках. Они не были похожи на разбойников из страшных сказок: никаких лохматых шапок или сабель, нацеленных на звёзды. Они действовали тихо, зло и профессионально. Двое схватили кучера, тот даже не пискнул — просто осел на землю с глухим стуком. Третий бросил факел на соломенную крышу амбара, и она занялась мгновенно, с каким-то неестественным, маслянистым треском.

— Спасайте детей! — заорал староста.

Но было поздно. Поляна превратилась в ад. Хороводы разорвались, девки визжали и разбежались в разные стороны, как стайка перепуганных воробьёв. Варвара прижала Ивана

к груди и попяtilась к дому. Единственная мысль стучала в висках: только не он. Только не он. Кто угодно, но не он.

— Сюда! — крикнул Заболоцкий, хватая её за локоть железной рукой. — В дом! За мной!

Она побежала за ним, спотыкаясь о подол длинного сарафана. В ушах гудело от собственного дыхания. За спиной кто-то кричал, ломались доски, ржали лошади. Когда они влетели в сени, Ефим Кузьмич резко захлопнул дверь и задвинул засов. На мгновение в сенях стало темно.

— Лестница? — выдохнула Варвара. — На чердак?

— Поздно, — сказал управляющий, и в голосе его вдруг не осталось прежней мягкости. Он посмотрел на неё странно, почти отчуждённо. — Они идут за вами, Варвара Алексеевна. Не за добром. За наследником.

Она замерла. Откуда он знает? Но спрашивать было некогда. Снаружи уже ломились в дверь. Чья-то грубая рука била в дубовые доски с такой силой, что на них проступала труха.

И тогда Варвара сделала то, что подсказало ей не разум — он был парализован ужасом, — а материнское тело. Она ринулась в кухню, где в углу стояла плетёная бельевая корзина. Схватив охапку чистых пелёнок, она выстелила ими дно, содрогнулась, глядя на воющего ребёнка, и положила его внутрь. Затем, дрожащими пальцами, сняла с пальца фамильный перстень.

Крупный, с тёмным уральским камнем, на внутренней стороне которого отец Ивана, покойный князь, когда-то соб-

ственной рукой выгравировал надпись крошечным резцом: «Ларины — роду не предать».

Она надела перстень на пухлую ножку младенца — он был велик, но держался на щиколотке. Затем выхватила с подоконника моток бечёвки и завязала вокруг корзины странный, хитрый узел, который в детстве показывала ей нянька — «рыбацкий», такой, что не развяжется, пока не отрежут, и непонятно, где начало, а где конец.

Она не знала, почему это делала. Какая-то чужая, древняя мудрость текла сквозь неё, та самая, про которую говорят «материнское сердце чует».

В кухне было окно, выходящее прямо на Оку. Варвара распахнула его, с силой толкнула корзину вперёд, чувствуя, как под пальцами трещит ивовая кожа. Корзина перевалилась через подоконник, на мгновение застряла на кусте бузины, а затем — глухо плюхнулась в реку.

— Прости, — прошептала она вслед. — Прости, Ванюшка. Плыви.

Она даже не видела, как его унесло течением. Потому что в следующую секунду дверь вылетела, и в кухню ворвались факелы — жаркие, пахнущие дёгтем, — а вместе с ними чья-то рука схватила её за волосы и швырнула на пол.

— Где сын? — прорычал над ней голос, в котором она узнала акцент — не местный, рязанский.

— Не знаю, — прохрипела она.

В ответ — удар. Но несильный. Скорее для остратки.

И странный, почти вежливый смешок. «Ищите на реке», — сказал кто-то рядом с ней. Они знали. Они ждали, что она отправит ребёнка по воде. Но как? Зачем?

Последнее, что она увидела перед тем, как провалиться в беспамятство, — языки пламени, лижущие барский дом, и Ефима Кузьмича, который стоял на пороге с идеально спокойным лицом и разглядывал свои ногти.

На его правом сапоге не хватало одной пуговицы. Она отлетела, когда он хватал её за локоть в сенах.

Медная, с выгравированным узором в виде переплетённого папоротника.

Варвара запомнила это, потому что больше запоминать было нечего.

Той же ночью, за три версты от усадьбы, в келье Знаменского монастыря, старый монах Митрофан сидел с восковой свечой у раскрытого окна. Спать он не мог — в воздухе стоял тот самый запах папоротника, от которого у него всегда начинало колоть в груди. Ему было шестьдесят семь, он помнил ещё стрелецкие бунты и видел много разных чудес, но то, что случилось этой ночью, не укладывалось в голове.

Он вышел на берег подышать — и увидел корзину. Она плыла прямо к его ногам, зацепившись за корягу. В корзине, закутанный в мокрые пелёнки, сидел мальчик. Он не плакал. Он смотрел на монаха огромными, светлыми глазами, и на его ножке переливался в лунном свете дорогой камень.

Монах Митрофан дрожащей рукой перекрестился, вынул

из кармана потёртую клеёнчатую тетрадь и огрызок карандаша. Он был из тех монахов, которые записывают всё — погоду, сны, родительские субботы, движения небесных тел. Привычка учёного, от которой не избавиться, — говаривал он.

Он записал:

«В ночь на Ивана Купалу, 24 июня 1752 года, прибило к нашим берегам корзину с младенцем. Возраст — около года. Глаза серые. Родинка под левым ухом, похожая на три точки — как след от вил. На правой ноге — перстень с гравировкой. Корзина оплетена не так, как у нас: береста с красной нитью, что указывает на барское происхождение. Узел на верёвке — "рыбацкий", но завязан на левую сторону, что говорит о том, что вязала женщина в страхе, стоя лицом к реке. Холодная вода не повредила младенцу, ибо в корзине был подшит войлок. На войлоке — пятна. Возможно, от кагора. Или от крови. Оставляю его у рыбака Ивана, ибо мне, грешному, недосуг пестовать чужих наследников. А перстень приказываю спрятать до времени — не ровен час, найдутся лихие люди».

Монах вздохнул, поставил точку и спрятал тетрадь за икону Богоматери. А затем — это было необъяснимо даже для него самого — он поцеловал ребёнка в лоб и добавил в тот же дневник постскрипtum, который потом сломает голову сыщику Воронову:

«Знак: в ту минуту, как корзина коснулась берега, в мона-

стырском колоколе треснул язык. Звонить к заутрене нечем. Будет недоброе. Или, напротив, доброе — кому как выпадет. А перстень тому мальчику не просто камень. Он тянется к хозяину. Я это чувствую старческим позвоночником. Железо в нём ненатуральное, не наше, из-за Урала привезённое. И запах у него — горит. Кто возьмёт его не по праву, тот обожжётся».

Он закрыл тетрадь, не подозревая, что меньше чем через три дня в деревню придёт отставной офицер Пётр Воронов, чтобы начать своё расследование, а пока — монах просто взял вернул корзину с ребёнком на реку неподалёку от рыбака Ивана, где у той же самой реки, у сгоревшей барской усадьбы, уже сходилась в узел судьба, которую не развяжешь никакой логикой.

Глава 2. Находка

Было ещё темно, когда Иван распахнул дверь избы и вышел на крыльцо. Июльское утро встречало его не рассветом, а сыростью — той тягучей, болотной влагой, что забирается под рубаху и оседает на бороде мелкими холодными каплями, пахнущими тиной и прелым листом. Ока дышала туманом. Река лежала в низине огромным выдохнутым облаком, берегов не было видно — только белая пелена, кое-где пронзённая верхушками старых ив, похожих на утопленников с поднятыми к небу руками.

— Марфа! — крикнул он, не оборачиваясь, и голос его прозвучал глухо, будто он говорил сквозь вату. — Вставай, ради Христа! Рыба уйдёт, пока ты бока отлёживаешь!

Из избы донеслось ворчание — недовольное, сонное, но уже привычное, как скрип половиц или стук маятника. Марфа не любила ранний подъём. Она была из тех женщин, кто просыпается медленно, как просыпается земля весной, — с неохотой, с кряхтением, с обязательным копанием в золе остывшего очага и с той лёгкой злобой на весь свет, которая проходит только после первой кружки кислого кваса.

Иван спустился с крыльца, босые ноги хрустнули по мокрой траве, оставляя тёмные следы. Он подошёл к плетню, где висели сети, провёл пальцами по ячейкам — туго, ладно, ни одной дыры. Хорошие сети, новые, сам плёл прошлой осе-

нюю, когда околела корова и время нужно было занять чем-то, кроме горьких дум. Удовлетворённо крякнул, снял их с колышка и направился к сараю за вёслами.

На пороге сарая он замер. Ему показалось — или в темноте мелькнула чья-то тень? Сарай стоял на отшибе, у самого огорода, и туман здесь был гуще, чем у реки. Иван прищурился, вглядываясь в белесую муть. Никого. Только старый плетень да заросли крапивы, которая уже доставала до пояса. Померещилось, — решил он. Но почему-то перекрестился. Легко, машинально, так, как крестятся перед неясной опасностью.

Он вытащил вёсла — дубовые, тяжёлые, с ладонями, выточенными временем до гладкости, и пошёл к крыльцу, где уже стояла Марфа. Она куталась в старую шерстяную шаль, хотя утро было тёплым, и смотрела на мужа с тем привычным выражением, которое у других женщин означало бы любовь, а у неё — просто усталую привязанность, замешанную на совместно прожитых голодных зимах.

— Иван, — окликнула она. — Слышь, Иван.

Он обернулся, опираясь на вёсла, как на посох.

— Ну?

— Мне приснилось сегодня, — сказала она, и в голосе её проскользнула та нотка, от которой у Ивана внутри что-то сжималось. — Будто ребёнок плачет. А я не могу найти, откуда. И всё река, река кругом. Вода тёмная, а на воде — огоньки. И этот плач... Иван, я проснулась с мокрым лицом.

Я плакала во сне.

Иван помолчал. Суеверия он не любил — после того, как в детстве бабка нашептала ему на ухо, что он «видит», и он действительно дважды предсказал паводок, он решил, что лучше не знать. Но и смеяться над женой не стал. У Марфы иногда, бывало, вещее. В прошлом году перед страшным паводком она сказала: «Не ходи на тот берег, там смерть», — он не послушался, чуть не утонул, когда лодку перевернуло на стремнине. Спасся случайно — ухватился за корягу, продержался до утра, пока его не нашли.

— Сны — это желудок пустой, — ответил он, пряча глаза. — Ешь больше на ночь, не будет снов. Или заговор какой начитай — у мельничихи есть, говорят, от кошмаров.

— У мельничихи заговоры против сглаза, а не против правды, — огрызнулась Марфа, но беззлобно. — Ты бы лучше помалкивал, когда не понимаешь.

— А ты помалкивай, когда не знаешь, что завтра будет, — парировал он привычно, и в этом обмене колкостями была вся их многолетняя близость — близость людей, которые ругаются каждый день, но не могут жить друг без друга.

Марфа вздохнула, перекрестилась на висящий в углу крыльца медный образок, и пошла за ним к реке, неся в руках глиняный горшок с квасом и краюху ржаного хлеба, завернутую в чистый холщовый рушник. За спиной у неё болталась старая торба, в которую она всегда клала оставшуюся от ужина кашу — на случай, если за день не удастся вер-

нутья, а рыба не поймаётся.

Они спустились к воде. Туман был такой густой, что лодку у коряги почти не было видно — она стояла у старого дуба, привязанная истлевшей верёвкой, чёрная и мокрая, похожая на спящее животное. Иван отвязал её, подал руку Марфе, помог переступить борт — она ступила тяжело, как всегда, и лодка опасно качнулась, но выдержала. Он оттолкнулся веслом от берега, и они бесшумно скользнули в белую мглу, оставляя за кормой слабый, быстро тающий след.

— Сегодня поставим сети под Кривым плесом, — сказал он, налегая на вёсла. — Говорят, язь идёт. У мельничихи сын вчера пять штук вытащил, и все по два локтя.

— Говорят, — хмыкнула Марфа, сидя на носу и свесив руку за борт. — В прошлом году ты тоже говорил, а принёс трёх подъязков и рака. Вяленого.

— Рыба не корова, она по расписанию не ходит, — огрызнулся Иван, но без злобы, скорее по привычке. — А рак был хороший. Ты сама сказала, что ушица наваристая.

— Ушица из рака, — фыркнула Марфа. — Тоже мне, княжеский обед.

Она сказала это не думая, но слово «княжеский» повисло между ними, и оба замолчали. Иван налегал на вёсла сильнее, Марфа уставилась в воду, где в тумане отражались её собственные глаза — серые, глубокие, с притаившейся тоской.

Они плыли молча. Река дышала, выпуская из глубины пу-

зыри, пахнувшие серой и тиной. Иногда из белой пелены выныривала птица — цапля или чайка — и снова исчезала, будто её и не было. Иван правил вёслами, Марфа сидела неподвижно, опустив руку в ледяную воду, и думала о своём. О том, что дети у них так и не родились. Что она уже бесплодна — это знали все в деревне, хотя никто не говорил вслух. Что муж иногда смотрит на неё с тоской, которую не может скрыть, хотя и старается. Что она научилась жить с этой пустотой, затыкая её работой, молитвами и той суровой верой, что Бог даст — когда сочтёт нужным.

Или уже не даст.

Она ведь знала. Каждую весну, когда таял лёд, она ходила в церковь, ставила свечку за здоровье, просила. И каждую осень, когда листья облетали, она смотрела на свой плоский живот и чувствовала только горечь. И уже перестала ждать. Но сегодняшней сон — он разбередил что-то внутри, что-то, что она считала мёртвым. Она почти слышала тот плач. И теперь, сидя в лодке, она вслушивалась в тишину, пытаясь уловить эхо этого сна.

Иван тоже молчал. Он думал о другом — о том, что сети надо менять, а денег на новые нет. Что осенью придётся идти на баржу, сплавливать лес до Нижнего, а это значит — уйти на месяц, оставить Марфу одну, а она без него не справится с хозяйством. Что староста опять будет вымогать оброк, а новый управляющий, говорят, совсем лютый — назначил подати с рыбацких дворов, каких и при прежней княгине не

было. Говорят, княгиня сгорела в том пожаре... Или не сгорела? Слухи ходили разные, но правды никто не знал.

В этой тишине, разрезаемой лишь плеском вёсел и редкими криками невидимых птиц, они почти не слышали, как из тумана донесся тихий, прерывистый звук. Сначала Иван подумал — показалось. Потом звук повторился, и он замер с веслом на весу.

— Слышала? — спросил он шёпотом, не оборачиваясь.

Марфа уже стояла на носу, вся, вытянувшись вперёд, как охотничья собака, учуявшая дичь.

— Слышу, — выдохнула она. — Господи, Иван, это ребёнок!

Звук повторился — слабый, младенческий, едва различимый над журчанием воды, но удивительно отчётливый в этой туманной тишине. Это был плач. Не плач птенца или зверька — человеческий плач, голодный, требовательный, который в его монотонности таил отчаяние.

— Сиди! — скомандовал Иван, хотя она уже стояла, и навалился на вёсла, направляя лодку к левому берегу, откуда, как ему казалось, доносился звук.

Туман начал редеть, открывая очертания берега — высокий, обрывистый, поросший ивняком и ольхой. У самого уреза воды, прибитая к коряге течением, чернела плетёная корзина. Круглая, с плотными, искусно загнутыми краями, оплетённая ивовыми прутьями и укреплённая по бокам берестяными лентами. На дне её, на подстилке из мокрой, но

всё ещё тонкой шерстяной ткани, сбившись в комок, лежал ребёнок.

— Боже, — Марфа уже стояла на носу, протягивая руки, не боясь перевернуться. — Там дитя!

Иван резко ударил веслом, подгребая ближе, наклонился, ухватил корзину за край, и лодка опасно закачалась, но он удержал равновесие. Корзина была тяжёлой — слишком тяжёлой для пустой, но лёгкой для того, чтобы утонуть. Внутри лежал младенец, завернутый в шаль из тонкой шерсти, расшитую серебряной нитью и местами — красным бисером, который в утреннем свете горел, как капли крови. Ребёнок был худым, но живым — когда Марфа перехватила корзину из рук мужа и прижала к себе, из неё раздался громкий, требовательный крик, от которого у Ивана защипало в глазах.

— Живой, — прошептала Марфа, и в голосе её прорвалось то, чего Иван не слышал уже много лет — нежность. Настоящая, материнская, животная. — Господи, живой. Иван! Он живой!

Она уже вытащила ребёнка из корзины и прижимала к груди, укачивая, что-то шепча, и младенец, будто услышав родной голос, начал затихать, всхлипывая и хватая ртом воздух. Иван смотрел на них, и лицо его медленно менялось. Сначала он нахмурился, пытаясь понять, как младенец мог оказаться в корзине на середине реки. Потом глаза его расширились, когда он разглядел шаль — такая ткань стоила дороже всей его лодки вместе с сетями и сараем. А потом он

заметил главное.

На шейке младенца, на тонком кожаном шнурке, поблёскивало золото. Кольцо. Тяжёлый перстень с крупным тёмно-синим камнем, почти чёрным в туманном свете. Камень переливался изнутри, как глаз ночной птицы.

Марфа тоже увидела. Она перестала качать ребёнка, замерла, вглядываясь. Потом осторожно, дрожащими пальцами, взяла перстень, повернула его к свету — он был тяжёлым, гравировка на внутренней стороне чёткая, глубокая, явно сделанная мастером с большой любовью.

— «Ларины — роду не предать», — прочитала она по слогам. Муж был неграмотен, она сама научилась читать в детстве у старого дьякона, который приходил в их село раз в год. — Иван... это не простой ребёнок. Это княжеский. Гляди — камень. Сапфир. Я такие в церкви видела на ризах, да и то меньше.

Иван побледнел. Он знал, что такое княжеские дети, оставленные в реке. В лучшем случае — тайное рождение, которое хотят скрыть от недобрых глаз. В худшем — заговор, убийство, месть. Знал он и то, что крестьянам, нашедшим такое сокровище, обычно вырывали язык, чтобы не болтали, или топили в той же реке, только уже с камнем на шее. Или — что ещё страшнее — объявляли ворами, похитившими наследника, и вешали на площади, не спрашивая, виноваты ли.

— Брось, — сказал он хрипло, и голос его сорвался на

шёпот. — Брось корзину обратно. И ребёнка тоже.

— Что? — Марфа подняла на него глаза, и в них было непонимание, смешанное с ужасом. Она прижала младенца к себе ещё крепче, будто он уже был её. — Ты с ума сошёл?

— Брось, тебе говорю! — Голос его сорвался уже не на шёпот, а на крик, и лодка качнулась от его внезапного движения. — Марфа, ты хоть понимаешь? Это беда! Поймут — нас же повесят! Скажут, украли, утопили, продали! У нас найдут — и всё, конец. Ты думаешь, что в тюрьме спрашивают, правду ли ты говоришь? Не спрашивают! Это не ребёнок, Марфа — это петля на шее!

Он ударил веслом по воде, и брызги взлетели, оседая на лицах и одежде. Младенец снова заплакал, но Марфа не обратила на это внимания. Она смотрела на мужа глазами, в которых горел тот самый огонь, который когда-то заставил его жениться на ней — огонь упрямства, веры и той дикой, крестьянской силы, что не сгибается даже перед княжеским гневом. Она была дочерью плотника, которого убили за спор с помещиком, она помнила, как её мать ходила по судам, и как её никто не слушал. И она поклялась тогда — никогда не отдавать того, что ей дорого. Никому. Ни за какие деньги.

— Нет, — сказала она тихо, но весомо, каждое слово вбивая, как гвоздь. — Нет, Иван. Я эту корзину не брошу. Ты хочешь — утопи меня вместе с ней. Но я не отдам.

— Дура! — взревел он. — Ты хоть представляешь, что будет, когда они его хватятся? Княгиня, говорят, выжила!

Она будет искать! У неё сыщики по всей губернии!

— А ты представляешь, — ответила она, и голос её дрожал, но не от страха, а от той ярости, которая согревает в самые холодные ночи, — что мы Бога искушаем? Он нам послал дитя. Нам! Бесплодной Марфе и пьющему Ивану, у которого даже корова дохнет каждую весну. Он послал! И ты хочешь это выкинуть? Как собачонку? Да ты не мужчина после этого. Ты — трус.

Она ударила его словом прямо в лицо, как пощёчиной. Иван дернулся, будто его и правда ударили. Весло выпало из рук, лодку понесло течением, но он даже не заметил. Он смотрел на жену, на младенца, на перстень, и в голове его шумело, как во время весеннего ледохода, когда лёд идёт, ломая всё на своём пути. Злость боролась в нём со стыдом, страх — с любовью. Он вспомнил, как Марфа выхаживала его, когда он лежал в горячке и бредил, как она продала свои серёжки, чтобы купить ему лекарство. И как она плакала по ночам, когда думала, что он спит.

— Мы его сохраним, — продолжала Марфа уже тише, но твёрже, чувствуя, что переломила его. — Никто не узнает. Я скажу, что родила. Срок-то подходит — я же весной полночи в животе носила? Все поверят. Мало ли у баб бывает, что живот встаёт, а потом схватки поздние? Я в церковь пойду, покаюсь, меня простят. Дьякон знает, что я по воскресеньям всегда у свечной лавки стою, меня не заподозрит.

— А перстень? — выдавил Иван, уже не крича, а почти

шёпотом. — Ты думаешь, он так и будет у него на шее? Любой увидит — и побежит доносить. Или украдёт. Или убьёт за него, не глядя.

Марфа помедлила. Она снова посмотрела на перстень, снова прочитала гравировку, и в глазах её мелькнула мысль — быстрая, хитрая, женская, та, что просчитывает на несколько шагов вперёд.

— Мы его спрячем, — сказала она. — И не просто спрячем, а так, чтобы никто не нашёл, даже если всю деревню перероют. Знаешь старый дуб на Красной горе? Тот, где когда-то молния ударила и расколола ствол?

Иван кивнул. Он знал. Все знали. Дуб был древним, его корни уходили в воду, и ходила легенда, что под ним зарыт клад, но никто не решался копать — боялись, что дух расщеплённого дерева навлёт беду.

— Там дупло. Большое, глубокое, почти до самой земли. Я корзину для грибов там прячу. Никто не знает. Мы положим перстень туда. И будем ждать.

— Чего ждать? — спросил Иван, и голос его был пустым, как у человека, который перестал спорить и начал слушать.

Марфа посмотрела на него с той спокойной уверенностью, которая иногда казалась ему безумием, а иногда — единственным спасением. Она снова покачала младенца, который уже затихал у её груди, и сказала:

— А кто его ищет, тот и найдёт. Если князья захотят найти своё дитя — они придут. Рано или поздно. И мы отдадим.

Если не придут — значит, не нужен он им. Или они мертвы. А мы не виноваты. Мы не украли — мы спасли. И Господь нас рассудит.

Иван молчал. Весло плавало рядом, но он его не поднимал. Он смотрел на жену и впервые за долгие годы видел в ней не просто бабу, с которой живёт по привычке, а женщину, которая умеет принимать решения, которые ему, мужику, и не снились. И в этом была какая-то горькая правда — он был сильнее физически, но она всегда была сильнее духом. Она могла стоять, когда он падал. Она не боялась, когда он дрожал.

— Может, и правда, — пробормотал он наконец. — Может, Бог послал...

Он поднял весло, развернул лодку и начал грести к берегу. Но не к своему, рыбацкому, а к тому, где рос старый дуб. Он греб молча, тяжело, вкладывая в каждое движение всю свою решимость. И когда лодка ткнулась носом в песок, он первым вышел на берег и протянул руку жене, помогая ей выйти, всё ещё держащей младенца на руках.

Они причалили к Красной горе. Дуб стоял одиноко, чуть поодаль от воды, на высоком бугре, поросшем папоротником и жёстким подорожником. Ствол его был расщеплён ударом молнии — внутри чернела глубокая трещина, которую дожди и ветер превратили в просторное дупло, выстланное слоем сухих листьев и мха. Марфа знала его с детства — она прятала там пряники от отца, а потом — медную иконку,

найденную на берегу. Никто никогда не находил её тайников.

Иван подошёл к дубу, постоял, глядя на расщелину, потом повернулся к жене. Она стояла с ребёнком на руках, покачивая его, и смотрела на мужа с той мольбой, которую он не мог вынести.

— Давай, — сказала она тихо.

Он отвязал перстень от шейки младенца. Ребёнок заворочался, заплакал, но Марфа тут же закачала его, что-то зашептала, и он успокоился, сжимая крохотным кулачком ворот её рубахи — отчаянно, цепко, как хватаются за жизнь утопающие.

Иван посмотрел на перстень. Тяжёлый, золотой, с огромным сапфиром, который в утреннем, пробивающемся сквозь листву свете вдруг вспыхнул глубокой синевой. Он снова прочитал гравировку, которую уже знал наизусть, и на мгновение ему показалось, что камень нагрелся в его ладони, будто живой.

— Красивая вещь, — сказал он тихо, почти с благоговением. — И страшная. Как оружие.

— Как судьба, — поправила Марфа. — Прячь.

Иван засунул руку в дупло. Глубоко, почти по локоть. Нашупал там сухие листья, старые сучки, склизкий мох, какой-то забытый тряпичный узел. На самом дне, под корой, лежала её медная иконка — он узнал её по гладкому краю. Он положил перстень рядом с иконкой, закидал листьями, примял их ладонью и отступил.

— Запомнил, — сказал он жене, и голос его был глухим, как отражение в воде. — Если что — мы не знаем. Ничего не знаем. Нашли ребёнка — и всё. А перстень — не видели. И ты, и я.

— Не видели, — эхом отозвалась Марфа, и в этом эхе была клятва, которую нельзя было нарушить.

— Иди, — сказал он, указывая на лодку. — Я сейчас. Хочу... помолиться. Чтоб не сглазить.

Она кивнула и пошла к лодке, неся ребёнка на руках. А Иван остался у дуба. Он не молился. Он стоял, глядя на расщелину, и чувствовал, как что-то внутри него меняется. Он не умел читать, но гравировку на перстне запомнил навсегда. «Ларины — роду не предать». Он не знал, что это за род. Но он знал, что с этой минуты он тоже причастен к нему.

Через две минуты он подошёл к лодке, сел за вёсла, и они поплыли обратно, к своей деревне. Река уже разогнала туман, солнце поднялось выше, и берега стали видны ясно и отчётливо. Иван греб быстро, но ровно, а Марфа сидела на носу и смотрела на ребёнка, который спал у неё на руках, улыбаясь во сне.

У самого берега, когда они уже причаливали, Марфа вдруг замерла и перевернула младенца набок, вглядываясь в его шейку.

— Иван, — сказала она, — смотри.

Он наклонился. Под левым ухом ребёнка, на бледной, ещё детской коже, он увидел три крошечные родинки, располо-

женные треугольником — как след от трёх вил.

— Что это? — спросил он.

— Примета, — сказала Марфа, и голос её был странным, как будто она говорила не о ребёнке, а о ком-то другом. — Моя бабка говорила — если у младенца три точки под ухом, он или великим святым будет, или великим грешником. Третьего не дано.

Она замолчала, глядя на спящего мальчика. Иван тоже молчал, не зная, что сказать.

А на берегу, в кустах ивняка, мелькнула тень. Старый мельник Тимофей, который вышел проверить плотину, стоял и смотрел на лодку, прищурившись. Он видел, как они причалили. Как Марфа вышла с узлом на руках. Как Иван прятал что-то у дуба на Красной горе.

Он ничего не сказал им. Но вечером, когда они уже сидели за ужином, его жена, Ульяна, забежала к ним в избу с криком: «Слыхали? Княжеская усадьба сторела! Княгиня пропала! А наследника ищут — говорят, утопленника в реке видели!» — и все в деревне загудели, как встревоженный улей.

Иван и Марфа переглянулись. Марфа прижала к себе спящего Ростислава, которого они уже успели окрестить в честь её деда — тоже найденного в реке. Иван сидел, глядя в стену, и молчал. А за окном, в старом дубе на Красной горе, лежал сапфир, который ждал своего часа.

И ждал его одиннадцать лет.

Глава 3. Два мальчика

Они выросли вместе, как две стороны одной реки — Ростислав и Мирослав. Один притягивал к себе удачу, словно магнит — железные опилки, другой же, казалось, отталкивал её с той же неумолимой силой. И все в деревне знали: если Ростислав идёт на рыбалку — будет улов. Если Мирослав берётся чинить сеть — она порвётся в трёх местах сразу. Если Ростислав загадывает желание на падающую звезду — оно сбывается к утру. Если Мирослав пытается сделать то же самое — звезда гаснет, не долетев до горизонта, будто кто-то гасит её сильным пальцем.

И никто, даже самые старые бабки, помнившие ещё нашествие татар, не мог объяснить — почему. Одни говорили: «Божья печать на Ростиславе». Другие: «Дьявольское семя в Мирославе». Третьи просто крестились и плевали через плечо, когда кто-то из них проходил мимо.

Но правда, как всегда, была сложнее.

Ростислав был высок для своих одиннадцати лет — с той худощавой, жилистой статью, которая бывает у детей, выросших на реке, на ветру и на скудной, но честной крестьянской пище. Он ел кашу без масла, пил молоко, разбавленное водой, и хлеб с луком — и всё равно рос крепким, как молодой дубок. Волосы у него были светлые, почти льняные, а глаза — серые, с тёмным ободком, как у цапли. Он смотрел ими

прямо, спокойно, без той детской вертлявости, которая раздражает взрослых. Смотрел и запоминал. Он всегда запоминал — где какой гриб растёт, куда уходит рыба, как пахнет дождь за два дня до того, как он начнётся.

Он умел слушать тишину. Это было его главное умение. Там, где другие слышали только ветер, он слышал, как под корой шевелится жук. Там, где другие видели просто воду, он видел, как под водой перекачивается стая плотвы, оставляя лёгкие, почти невидимые круги на поверхности. Он не знал, откуда это у него. Это было просто — как дыхание. Как биение сердца.

Марфа души в нём не чаяла. Она называла его «Божьим даром» и, несмотря на всю свою суровую набожность, позволяла ему то, чего никогда не позволяла бы родному — если бы он у неё был. Ростислав мог уйти на реку на рассвете и вернуться к вечерне — и она только крестилась ему вслед, шепча: «С Богом, с Богом, храни тебя Бог». Он мог принести домой щенка, которого нашёл замерзающим на берегу, — и она не ругалась, а только качала головой: «Опять ты, Ростиславка, душу бездомную приволок. Ему же есть надо, у нас самим нечего» — но кормила щенка из своей чашки. Он мог предсказать, что придёт ранняя зима, — и когда снег выпал на неделю раньше обычного, соседи приходили к нему за советом, где копать картошку, а где оставить до морозов.

— Откуда ты знаешь? — спрашивали его.

— Гуси, — отвечал Ростислав. — Они летят низко и кри-

чат. Значит, стужа близко.

И всё. Никакой магии. Только наблюдение. Но люди не хотели слышать про наблюдение. Им нужно было чудо. И они видели чудо в нём.

Иван относился к нему иначе — с настороженной, молчаливой любовью, которая не находила слов. Он видел в мальчике ту же цепкость, ту же внутреннюю собранность, которую заметил в первое утро, когда вытащил его из корзины. Но он видел и другое — то, что Марфа не хотела замечать: Ростислав был не их. Не по крови. Не по судьбе. И когда мальчик смотрел на закат, на реку, на тот самый старый дуб на Красной горе, в глазах его была какая-то глубина, которая пугала Ивана. Она напоминала ему о перстне. О княгине. О том, что однажды за этим мальчиком придут.

Он просыпался по ночам от того, что ему снилось — будто кто-то стоит у окна в чёрной треуголке и смотрит на их избу. Он не говорил об этом Марфе. Но однажды, когда Ростиславу было девять, он сказал ему:

— Не ходи к дубу на Красной горе. Никогда.

Ростислав поднял на него свои светлые глаза:

— Почему, батя?

— Потому что я сказал, — отрезал Иван. — Там земля нехорошая. Молния ударила. Грех там ходить.

Ростислав не спорил. Но он запомнил. Он всегда запомнил, когда взрослые что-то недоговаривали.

Мирослав был полной противоположностью. Низкорос-

лый, с тёмными, вечно взлохмаченными волосами, которые никто не стриг и не причёсывал, он выглядел так, будто его всю жизнь били — и не за дело, а так просто потому, что он был тем, на кого можно вылить злость. И действительно, его били. Сверстники — за то, что он приносил неудачу. Взрослые — за то, что он всегда оказывался не в том месте и не в то время. Даже собаки, казалось, чуяли в нём что-то неправильное — они рычали на него, когда он проходил мимо, и убежали, когда он пытался их погладить.

Он был сиротой. Не в том смысле, что у него не было родителей, — мать у него была, но она почти не выходила из избы, потому что была слаба умом, как говорили в деревне. Она не узнавала его в хорошие дни и била в плохие. Она не кормила его, когда забывала, и прятала хлеб в сундук, когда не забывала. Он рос сам по себе, как трава на пустыре, — никем не политый, никем не защищённый.

И в этом было его главное несчастье. Он не знал любви. Он знал только голод, холод и презрение.

Деревня знала о Мирославе всё, но не жалела. Потому что он был плохим знаком.

И это началось с самого раннего детства. Когда Мирославу было три года, он упал в колодец — и, хотя его вытащили, вода в том колодце после этого стала горькой, и её пришлось закопать. Когда ему было пять, он случайно поджёг сеновал — и сгорело всё сено у трёх соседей, и они целую зиму голодали. Когда ему было семь, он пошёл с отцом на рыбалку

— и лодка перевернулась, отец утонул, а его, Мирослава, вынесло на берег, как щепку. Он не помнил, как это случилось. Он помнил только холод, темноту и то, как вода заливалась в рот, и как отец кричал что-то, что он не разобрал. А ещё — что, когда он очнулся на берегу, весь в тине и водорослях, все смотрели на него с ненавистью. «Он принёс смерть», — шептали за спиной. «Он сглазил лодку. Сглазил отца».

После смерти отца мать совсем потеряла рассудок. Она перестала говорить, только сидела на лавке, глядя в стену, и раскачивалась вперёд-назад. Иногда она вставала, начинала метаться по избе, бить посуду и кричать: «Верни его! Верни!» — и Мирослав прятался в углу, закрывая голову руками, потому что она не видела разницы между ним и стеной.

Он научился всему сам. Мыть полы. Стирать. Готовить — или пытаться готовить. Он научился не плакать, когда его били, потому что плач раздражал ещё сильнее. Он научился не просить, потому что ему всё равно не давали. Он научился улыбаться, когда ему хотелось выть, — он делал это так хорошо, что иногда сам верил в эту улыбку. Он научился быть невидимым. И в этом было его главное оружие.

Но он не научился прощать.

Они подружились случайно, как дружат только дети, которые не знают, что такое общественное мнение. Это было летом, когда Ростиславу было семь, а Мирославу — восемь. Ростислав сидел на берегу и удил рыбу. Мирослав проходил мимо с охапкой хвороста — он всегда собирал хворост, что-

бы не замёрзнуть зимой, — и, как всегда, кто-то крикнул ему вслед: «Уходи, бедолага, рыбу распугаешь!».

Мирослав пошёл бы дальше, не оборачиваясь, как делал всегда, если бы Ростислав не обернулся и не сказал ему:

— Садись рядом. Здесь много рыбы. На всех хватит.

Мирослав замер. Это было впервые — чтобы кто-то позвал его не для того, чтобы пнуть или прогнать. Он сел на траву, чуть поодаль, положив хворост рядом, и смотрел, как Ростислав вытягивает одну рыбу за другой. Прошло полчаса. Ростислав поймал семь окуней и одного крупного леща, а у Мирослава на крючке не было ни одного. Поплавок стоял неподвижно, как камень.

— Я знаю, — сказал Мирослав тихо, глядя в воду, чтобы не встречаться взглядом с Ростиславом. — Я неудачник. Ты можешь не звать меня больше. Я не обижусь.

Ростислав посмотрел на него, и в серых глазах его промелькнуло что-то, что Мирослав не мог понять. Это не была жалость — он знал жалость, он ненавидел её. Это было узнавание — будто Ростислав видел в нём что-то, чего не видели другие.

— Это не ты приносишь неудачу, — сказал Ростислав. — Это люди боятся. А рыба не боится. Рыба не знает, кто удачливый, а кто нет. Она просто голодная.

Мирослав хотел возразить — сказать, что вчера он стоял с удочкой, и ни одна рыба не клюнула, а сегодня он только подошёл, и уже никто не клюёт, — но Ростислав уже встал,

отдал ему свою удочку и сказал:

— Попробуй сам. Я буду смотреть.

Мирослав взял удочку. Руки его дрожали. Он закинул леску, поплавок упал на воду, и сразу же ушёл под воду, стремительно, как будто его тянули за верёвку. Он дёрнул — и вытащил огромного окуня, серебристого, с тёмными полосами, который бился на траве, открывая рот и хватая воздух.

— Смотри! — закричал Мирослав, и голос его сорвался от изумления и какой-то дикой, детской радости. — У меня получилось! Поймал! Я поймал!

Ростислав улыбнулся. Он не сказал ни слова, но Мирослав запомнил эту улыбку навсегда — спокойную, уверенную, как у человека, который знает ответ на загадку, которую остальные только пытаются разгадать.

С тех пор они стали друзьями. Настоящими друзьями — такими, которые делят пополам хлеб, молчат о боли и всегда знают, где найти другого в лесу.

Но деревня не простила Мирославу его неудач, а Ростиславу — его удач. Бабы шептались у колодца: «Видали, как этот приёмыш всё притягивает? Вчера корова у него не доилась, а сегодня вон — три ведра молока. Не иначе — нечистая сила ему помогает». Мужики хмурились: «Нашёл себе дружка — бедолагу. Теперь их обоих стороной обходить надо. Понесёт ещё порчу на наши дома». Дети, которые раньше играли с Ростиславом, начали отворачиваться — они боялись Мирослава, а заодно и всех, кто с ним якшается.

Вскоре деревня разделилась на два лагеря. Одни, в основном женщины и старики, почитали Ростислава за Божьего человека — ему приносили больных детей, чтобы он их заговорил (он никогда не заговаривал, просто смотрел на них и говорил: «Пей отвар из ромашки, и всё пройдёт»), но это не имело значения), просили предсказать погоду, благословить посев. Другие, в основном молодые парни и их семьи, ненавидели Мирослава лютой ненавистью и требовали от старосты: «Выгони его! Он порчу на нас наводит! Сожги его избу!»

Староста был мужик робкий, он мотал головой, отмахивался, но ничего не делал. Потому что в глубине души он тоже боялся Мирослава. Он боялся, что, если прикоснётся к нему — неудача перейдёт и на него.

Ростислав видел всё это, но молчал. Он не умел защищать друга словами — слова были слишком слабыми, чтобы переубедить тех, кто уже решил ненавидеть. Он защищал Мирослава по-своему. Когда мальчишки начинали дразнить друга, бросать в него камнями или тянуть за волосы, Ростислав тихо, но весомо говорил им: «Оставьте его. Он хороший». И они оставляли. Не потому, что боялись Ростислава — он был такой же ребёнок, — а потому что в его голосе было что-то такое, что заставляло замолчать даже самых буйных. Какая-то внутренняя сила, которая не нуждалась в криках.

Но однажды случилось то, что изменило всё.

Это была осень. Ростислав и Мирослав пошли в лес за грибами — и заодно за орехами, которые в тот год уродились на славу. У Ростислава корзина быстро наполнялась — белые, подосиновики, маслята, даже рыжики, которые в тот год уродились на славу. У Мирослава корзина была почти пуста — всего несколько старых сыроежек и один червивый подберёзовик, который он срезал от отчаяния. Он шёл за Ростиславом, как тень, и чувствовал, как внутри него нарастает знакомая горечь. Он не завидовал Ростиславу — он восхищался им. Но почему-то это восхищение превращалось в тупую, ноющую боль, когда он смотрел на свою пустую корзину.

— Ростислав, — сказал он вдруг. — Ты правда считаешь, что я не приношу неудачу?

Ростислав обернулся. Он нёс корзину, переполненную грибами, и улыбался той своей спокойной улыбкой.

— Нет, — сказал он. — Ты просто не умеешь их искать.

— А ты умеешь?

— Да, — просто ответил Ростислав. — Смотри. Видишь этот мох? Он растёт только там, где есть грибы. А вот этот муравейник — если муравьи строят его на южной стороне, то грибов там не будет. А если на северной — будут. Я смотрю на муравьёв, на птиц, на ветер. И понимаю, где что растёт. Это не магия. Это как читать книгу. Только книга — это лес.

Мирослав смотрел на него, и в его глазах была не зависть, а отчаяние. Потому что он знал — он никогда не сможет так. Он не видел этих знаков. Для него лес был просто лесом —

тёмным, холодным, полным невидимых опасностей. Он не слышал того, что слышал Ростислав.

— Ты особенный, — сказал он тихо. — Я знаю. Я всегда знал. Ты не такой, как мы.

Ростислав посмотрел на него странно. Ему показалось — или в голосе Мирослава прозвучала та нота, которую он слышал только у взрослых, когда те начинали говорить о нём как о необычном.

— Мы все одинаковые, — ответил он. — Просто каждый по-своему смотрит на мир. Ты тоже умеешь смотреть. Ты просто не знаешь, на что.

— А я умею? — спросил Мирослав, и в голосе его вдруг появилась злость — злость на себя, на Ростислава, на весь мир. — Я не умею! У меня всё валится из рук! Ты можешь найти грибы, а я могу только поджечь баню, даже если не хочу! Это я или кто-то другой? Ты думаешь, я хочу быть таким? Думаешь, я хочу, чтобы все меня боялись?

Он почти кричал, и слёзы стояли в его глазах, но он не давал им упасть — он ненавидел слёзы. Ростислав подошёл к нему и положил руку на плечо.

— Я знаю, — сказал он. — Я знаю, что ты не виноват. Просто люди боятся того, чего не понимают. И я тоже иногда боюсь. Но я не боюсь тебя.

Мирослав смотрел на него и чувствовал, как внутри него что-то ломается. Это была не благодарность. Это была боль. Потому что он понял — Ростислав не боится его, потому что

он сильнее. Потому что он знает, что удача — на его стороне. И ничего, что сделает Мирослав, не сможет изменить это.

Они пошли дальше, но между ними что-то изменилось. Мирослав шёл молча, глядя под ноги, и чувствовал, что впервые за долгие годы он завидовал. И это чувство было хуже, чем горечь. Это было как яд, который растекается по жилам, медленно, неотвратно.

Драки в деревне были обычным делом. Мальчишки дрались постоянно — из-за грибов, из-за места на реке, из-за того, кто сильнее. Но были и правильные драки — те, что показывали, кто настоящий мужчина. Их устраивали на поляне за околицей, по воскресеньям, после обедни. Дети сражались в стенку — две шеренги, мальчик против мальчика, пока один не падал или не сдавался.

Ростислав не любил драться. Он не был слабым, но он не видел смысла в том, чтобы доказывать силу кулаками. Однако уйти он не мог — его бы сочли трусом, а в деревне это хуже, чем быть неудачником. Поэтому он дрался, но всегда с холодной головой. Он не бросался на противника стгоряча — он ждал, смотрел, когда тот устанет или потеряет равновесие, и делал один точный захват. Его редко били. Он редко бил сам. Но его уважали — не за силу, а за то, что он никогда не унижал побеждённого.

Мирослав дрался иначе. Он не умел ждать. Он бросался с отчаянием, с тем животным страхом, который превращался в ярость. Он не думал о том, как защититься, — он про-

сто бил, пока не падал. И падал он всегда. Его били сильно, часто до крови, и он вставал и снова бросался. И никто не понимал — почему. Он сам не понимал. Он просто не мог остановиться. Он должен был доказать, что он тоже может. Что он не слабый. Что он не никто.

Однажды, когда им было по десять лет, Мирослав решил научиться драться по-настоящему. Он пришёл к Ростиславу на рассвете и сказал:

— Научи меня. Ты же умеешь. Я видел, как ты сбил Гришку, а он в два раза тебя шире.

Ростислав посмотрел на него удивлённо:

— Зачем тебе? Ты и так умеешь.

— Я не умею. Я просто бросаюсь. Меня всегда бьют. Я хочу, чтобы меня не били.

Ростислав помолчал. Он видел в глазах Мирослава что-то, что не нравилось ему. Не отчаяние. Ненависть. Но он не мог отказать другу.

— Хорошо, — сказал он. — Но это не про силу. Это про голову. Ты должен думать, прежде чем бить.

Они ушли на поляну у реки, где никто не видел. Ростислав показывал Мирославу, как стоять, как держать руки, как уклоняться. Мирослав повторял, но у него всё получалось неуклюже — он падал, сбивался с ног, пропускал удары.

— Ты злишься, — сказал Ростислав. — Ты злишься на меня.

— Нет, — ответил Мирослав, но в голосе его была ложь.

— Если ты злишься, ты не видишь противника. Ты видишь свою злость. А злость — она слепая. Ты должен быть спокойным. Как вода.

— Как вода? — Мирослав усмехнулся, но в усмешке была горечь. — Ты всегда говоришь про воду. Это потому, что ты из воды пришёл, да?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.